

Россия на переломе. Большевистский период русской революции

<Фрагменты>

Почему большевики взяли верх?

I

Всего восемь месяцев (февраль-октябрь) отделяют первую революцию 1917 года от второй. Мы теперь знаем, почему была неизбежна *первая* революция, февральская. Но почему стала необходима *вторая*, октябрьская? Этот вопрос тем естественнее, что обе революции стояли в полнейшем контрасте друг с другом. Первую, февральскую мы называли «бескровной» и считали национальной и разумной. Это был плод порыва всех частей нации и всех политических групп — включая и консервативные — к освобождению от устаревшей политической формы, мешавшей объединить все силы нации в общем усилии самозащиты от внешнего врага. Но вторая революция, октябрьская, наоборот, разъединила нацию и стала сигналом длительной гражданской войны, в которой были применены худшие виды насилия. В противоположность *национальному* характеру февральской революции, октябрьский переворот сам объявил себя *интернациональным*. Руководство революцией перешло при нем от признанных лидеров — оппозиционеров Думы последнего десятилетия — к группе вождей, только что бывших изгнанниками и собравшихся в Россию со всех концов света — из Женевы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Самые цели, в противоположность определенному национальному заданию февральского переворота — спасти Россию от поражения, были явно утопическими — коммунизм в России и во всем мире. Как же случилось, что эта утопическая и интернациональная по своей вывеске революция победила разумную и национальную? И как случилось, что разумная и национальная революция просуществовала всего восемь месяцев, тогда как утопическая и интернациональная приближается уже к своему десятилетию? Попробуем ответить здесь на первый из этих вопросов. Ответ на второй будет дан в следующей главе.

Первый и общий ответ нетруден. Русская революция не была бы революцией, если бы она остановилась на первой стадии и не дошла до крайностей. Прodelать все стадии — такова судьба всех *настоящих* революций. Все они начинались сравнительно скромно и сдержанно, — и все развивали крайние тенденции по мере того, как власть ускользала из рук умеренных групп, захвативших ее первоначально, и попадала в руки импровизированных вождей неорганизованных масс. Чем эти вожди могли привлечь к себе

внимание масс? Очевидно, прежде всего, резкой критикой поведения своих предшественников. Массы, естественно, недоверчивы и подозрительны. Раз революция началась, у них появляется инстинктивная боязнь, как бы она не кончилась слишком рано и слишком близко к своему исходному пункту. Масса не хочет вождей и политических партий, которые становятся ей известны в готовом виде, — но желают говорить от ее имени. Она не верит во все то, что имеет прошлое. Она хочет выбирать и санкционировать своих вождей сама, — и останавливается на последних пришедших. Все предыдущие, хотя бы они были деятелями той же революции, очень скоро дискредитируются, как «контрреволюционеры», желающие остановить революцию раньше ее естественного конца и, следовательно, лишить массы каких-то возможных, но неизведанных достижений. Уроки прошлого при этом не научают, — даже если и становятся известны: каждая нация должна, очевидно, сама проделать свой собственный опыт.

Вот почему никакая большая революция не ограничивается своей первоначальной целью — более или менее драматическим свержением старой центральной власти. Революция есть сложный и длительный процесс: постепенная смена настроений в широких социальных слоях. Нужно время, чтобы этот процесс начался в массах и прошел через все свои естественные стадии. Пока они не пройдены, революция *должна* следовать своему неизбежному курсу и не может остановиться на середине. Революционный пожар *должен* выжечь дотла все, что уцелело от низвергаемого порядка, — не только все учреждения, но и все пережитки психологии. Она останавливается среди созданных ею развалин и произведенного опустошения лишь тогда, когда с удовлетворением замечает, что среди элементов предстоящей реконструкции нет сомнительных: все зелено, но не гнило. Только тогда она успокаивается на социальных и политических достижениях, не допускающих реставрации и *наверное* не имеющих связи с прошлым.

С этой точки зрения и «коммунистическая» революция 25 октября 1917 года не есть что-то новое и законченное. Она есть лишь одна из ступеней длительного и сложного процесса русской революции. Мы увидим, что никакого «коммунизма» не было введено в России и что сами коммунисты в процессе революции должны были приспособляться к условиям русской действительности, чтобы существовать. Большевицкая победа в этом смысле лишь продлила общий процесс русской революции. Она только открыла новый период ее. Существенна в этой победе не поверхностная смена лиц и правительств — и даже не перемена их тактик и программ, а непрерывность великого основного потока революционного

преобразования России, плоды которого одни только и переживут все отдельные стадии процесса.

Таков общий и предварительный ответ на вопрос, почему большевики победили. Он, однако, настолько общий, что в нем тонет и уничтожается отдельная роль лиц и партий и устраняется вопрос об их индивидуальной ответственности. Вопрос об ответственности для *историка* может быть не интересен. Но и для него — для простого *понимания* индивидуального исторического процесса, для объяснения *национального* лица революции — эти подробности необходимы. Может быть, ничто не могло случиться иначе, чем случилось. Но почему оно случилось именно так, а не иначе? В конце предыдущей главы мы искали этого индивидуального объяснения национального лица русской революции в прошлом. Мы не можем уклониться от выяснения тех же индивидуальных черт, унаследованных от этого исторического прошлого, в настоящем, в самом процессе революции.

Итак, что заставило русскую революцию в ее индивидуальном процессе развиваться по тем ступеням, которые она проходила? В Великой французской революции, например, мы знаем, каковы были эти движущие пружины, превратившие скромное начало в настоящую революцию, в глубокий национальный массовый процесс. Были ли налицо те же мотивы в русском дореволюционном движении? Как будто их не было. Прежде всего, у нас не было той борьбы за и против старой неограниченной власти, которая составила содержание первого периода французской революции. Царская власть сдалась сразу — после отречения Николая и после отказа назначенного им преемника, в. к. Михаила, взойти на престол раньше решения Учредительного собрания. Наши монархисты сразу стушевались, и не было учреждения, в котором могла бы вестись словесная борьба за прерогативу царской власти. Формально или фактически, *все* политические течения, продолжавшие активно участвовать в политике, — даже и консервативные, — стали республиканскими. Затем, у нас не было того страха перед иностранным нашествием, не было тех опасений, что придут иностранцы и восстановят свергнутую власть, которые доводили до пароксизмов отчаяния и паники общественное мнение времен национального собрания и конвента французской революции. У нас не было в то время и знатных эмигрантов, которые бы настаивали перед иностранными Дворами на интервенции. Эта опасность отчасти появилась *потом*, при *классовой* октябрьской революции. Но в *первой* стадии — февральской «бескровной» революции — русский революционный процесс не имел никаких видимых врагов — ни «внутренних», ни «внешних». Долгое время

ссылка на «контрреволюционную опасность» оставалась лишь демагогическим приемом, лишенным реального основания, если не считать, что «контрреволюция» существовала потенциально.

И однако же этот аргумент постоянно употреблялся, чтобы «толкать» вперед революционный процесс. Целью было при этом выдвижение вперед «революционной демократии», сперва в ее умеренных, а затем и в ее неумеренных элементах. Самый термин «революционная демократия», придуманный специально Церетели для данной конъюнктуры, оказался достаточно неясен и эластичен, чтобы, в пределах восьми месяцев между февралем и октябрём, послужить для ряда политических модуляций из более умеренных в более крайние тона. Конечным результатом этих модуляций было то, что был откинут, как ставший ненужным, и самый термин «демократия». Но, очевидно, *не эта* политическая терминология, употребление которой ограничивалось верхами, могла сама по себе двигать вперед революционный процесс. Действительные пружины, менявшие настроения масс, скрывались внутри; о них до времени не говорили, а отчасти даже их и не замечали. Тем не менее эти пружины были весьма реальны. В них надо разобраться, если хотим объяснить себе индивидуальное лицо русского революционного процесса.

Главной и основной пружиной, развертывавшейся в этом процессе постепенно, но неуклонно, надо считать *войну* — с ее внешним ходом и с ее последствиями на фронте и внутри России. Неудачный ход войны дал в сущности успех февральской революции в лице ее решающих факторов (Дума, военные вожди). Но положительное отношение революционной власти к продолжению войны послужило затем первой причиной ее ослабления. Та же война, еще до революции, воспитала «пораженческие» кадры, помогла им организовать в международном масштабе (Циммервальд), а после революции двинула эти кадры против деятелей февральской революции и дала часть основной программы октябрьскому перевороту. Наконец, последствия войны на фронте и внутри России заранее расположили народные массы в пользу тех, кто явился самым смелым отрицателем войны — и вместе с тем оказался отрицателем февральской революции. Война, в этом смысле, приготовила народ к октябрьской революции. Разобравшись во всех перечисленных моментах влияния войны на революцию, мы ближе подойдем и к пониманию главных особенностей русской революции.

Конечно, война не была единственным фактором. О нем даже меньше других говорили в процессе революционной борьбы. Только к концу февральской стадии значение этого фактора стало

пониматься в широких кругах. На первом плане стояли другие задачи и другие лозунги. «Союзные обязательства», «Учредительное собрание», «земельный вопрос», «рабочий контроль над фабриками», задачи сохранения производительных сил, стремления национальностей... Но политическое содержание всех этих лозунгов по необходимости менялось, смотря по тому, защищались ли они сторонниками продолжения или сторонниками прекращения войны, защитниками «февраля» или подготовителями «октября». Последние постепенно овладевали всеми этими лозунгами, отбрасывая одни, принимая другие в том толковании, какое давали сами сторонники февраля, истолковывая, наконец, по-своему, в процессе политической конкуренции, третьи. Так, по наследству или по контрасту, программа февральской революции превратилась в программу октябрьского переворота при активном содействии самой «революционной демократии». Здесь открывается место и повод уже не только для характеристики индивидуальных черт русской революции, но и для оценки поведения отдельных лиц и политических партий. <...>

Почему большевики удержались у власти?

I

В <...> брошюре «Удержат ли большевики государственную власть» Ленин откровенно изложил план той беззастенчивой и не признающей границ демагогии, которая поставила большевиков в особенно выгодное положение сравнительно со всеми другими, более совестливыми политическими партиями. Как могут большевики не удержать власти? По двум наиболее интересующим массы вопросам, аграрному и национальному, только «одни они способны вести решительную политику: провести немедленные революционные меры против помещиков и немедленно же восстановить полную свободу Финляндии, Белоруссии, мусульман и т. д.». В вопросе о войне тоже «только пролетариат, достигший власти, сразу предложит справедливый мир и пойдет на действительно революционные меры» для его скорейшего достижения. Только «пролетариат» может взять в свои руки — не какой-нибудь «государственный контроль» над производством и распределением — «это просто буржуазно-реформистская фраза», а «именно всенародный рабочий контроль» как аппарат «социалистической революции». «Когда последний чернорабочий, либо безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин увидит, что пролетарская власть... берет лишние продукты

у тунеядцев, вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей, что земли переходят к трудящимся, фабрики и банки под контроль рабочих, что за укрывательство богатства ждет миллионеров немедленная и серьезная кара... тогда... поднимутся миллионы борцов... и никакие силы капиталистов и кулаков... не победят народной революции». Возражают, что пролетариат «не сможет технически овладеть государственным аппаратом», армией, полицией, чиновничеством? Ленин признает, что это, действительно, «одна из самых трудных задач». Но недаром Маркс учил, что «пролетариат должен не просто овладеть государственной машиной, а разбить ее и заменить ее новой». Новая машина — это «советы», созданные «народным творчеством революционных классов». Если бы их не было, «то пролетарская революция в России была бы делом безнадежным». Но раз они есть, в них имеется налицо и «вооруженная сила рабочих и крестьян», тесно связанная с массами, и средство держать эту силу в руках, и «организационная форма авангарда» угнетенных классов, и, наконец, «возможность соединить выгоды парламентаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, т. е. соединение и законодательной функции и исполнения законов». Нужно, конечно, сохранить, «кроме угнетательного аппарата армии, полиции и чиновничества, аппарат *учетно-регистрационный*». Этот аппарат подготовлен капитализмом для социализма в виде «банков, синдикатов, почты, потребительских обществ, союзов служащих». «Государственный банк с его отделениями в каждой волости, при каждой фабрике, — это уже *девять десятых* социалистического аппарата». Остается лишь «отрезать, отрубить от него капиталистов с их нитями влияния»....

Так упрощенно представлялась Ленину задача, предстоявшая ему после захвата власти. Фактически он приступил после захвата власти к ее исполнению еще более упрощенно. Демагогическая часть — раздел добычи — здесь уже безусловно преобладала. Надо было немедленно удовлетворить каждую из социальных групп, помощь которых была нужна, дав каждой то, что было ей обещано. Это и было сделано самым примитивным образом, не спрашивая о том, насколько принимаемые меры соответствовали задачам «коммунизма». «Мир» армии, «земля» крестьянам, «рабочий контроль» пролетариату — таковы были требования этих групп в период мартовской революции.

Мир, земля и контроль были обещаны, правда, и другими партиями, но при существовании Временного правительства армия должна была ждать решения союзников, чтобы заключить мир. Крестьяне должны были ждать земли от Учредительного собрания,

а созыв Учредительного собрания приходилось отложить до создания местных органов самоуправления, которые могли бы гарантировать правильные и свободные выборы. Народности должны были также ждать решения Учредительного собрания для размежевания территорий и определений пределов автономий. Рабочим приходилось делить контроль над фабриками с государственными учреждениями. Во всех этих случаях конкурентами являлись большевики и в самой наглядной форме предлагали: возьмите все это сами — и сейчас же. Именно эти обещания, данные в такой непосредственной форме, они и принялись осуществлять тотчас же после захвата власти, для ее закрепления за собой. Солдатам они говорили, по существу, в декрете 28 октября 1917 года, т. е. тотчас после переворота: «Идите навстречу германцам в любом месте фронта и заключайте перемирие за собственный страх». Крестьянам уже 25 октября, в самый день переворота, они советовали: «Не ждите решения Учредительного собрания, осуществляйте немедленно то, что вы решили на крестьянском съезде в июне». Народностям они заявляли 2 ноября: «Вы свободны располагать собой, *вплоть до отделения* и образования независимых государств». Наконец, рабочим они говорили (декрет 1 ноября): «Идите к владельцам и к управляющим вашей фабрики и скажите им, что вы получили право раскрыть их торговые книги, определить размеры производства и цены фабрикатов, словом, сами вести каждое отдельное предприятие».

По мере того, как выяснялась программа «рабоче-крестьянской диктатуры», соперники большевиков, меньшевики, с недоумением и злорадством спрашивали: где же тут социализм? Более или менее намечена только *политическая* сторона — методы захвата власти. Экономическая же программа совершенно отсутствует или не идет дальше той, из-за которой ушел из министерства Коновалов. Однако же большевизм, выставляя именно такую программу и проводя свою беспринципную тактику, был только верен самому себе. В самом своем происхождении, в борьбе, которую в девяностых годах XIX века вели «революционные марксисты» против «легальных марксистов» (Струве), потом в борьбе «Искры» первой (ленинской) редакции против марксистского экономизма в 1900–1903 гг., затем при столкновениях мнений на Лондонском съезде 1903 года, где произошло впервые формальное разделение на «большевиков» (т. е. получивших большинство на этом съезде) и меньшевиков, — наконец, во всей дальнейшей борьбе этих двух групп партии с. д. ленинское направление постоянно подчеркивало те же самые черты — преобладание политики и революционного бланкизма над экономической и эволюционной «научностью».

В этом отношении Ленин всегда оставался верен себе. Уже настаивая на резком выделении членов партии от сочувствующих, на крайней централизации партии как «передового отряда» рабочего класса, на монополизации руководства партией в руках «профессиональных политиков», на устранении колеблющихся «интеллигентов» и на выдвижении вперед готовых подчиняться дисциплине рабочих, Ленин имел в виду, как свою последнюю задачу, создание из партии сплоченного отряда для захвата власти и для использования государства в целях классовой борьбы, — какова бы ни была к тому моменту степень экономической зрелости страны. При большой готовности вступать во временные соглашения, хотя бы и с «либералами» — смотря по положению революционной «конъюнктуры», — Ленин никогда не хотел смешиваться или сливаться не только с ними, но даже и с «содействующими» из состава пролетариата. Прежде всего, проповедовал он, надо «отмежеваться», а потом уже влиять на одних и стовариваться с другими. Это — та же самая тактика, которую, как увидим, Ленин применил и при создании третьего интернационала <...>. Та же «твердокаменность» и безразборчивость отличает его методы уже в самый момент выделения из бесформенных с. д-ких групп — кадров будущей партии большевиков. Вы говорите: я ввожу «осадное положение», «ежовые рукавицы», говорил он Мартову, лидеру меньшевиков на II съезде? «Да, верно. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать “осадное положение”... Весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как “осадное положение” для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особенные, хотя бы и исключительные законы; и сделанный съездом шаг... создал прочный базис для *таких* законов и *таких* мер». А Плеханов, поддерживавший на этом съезде Ленина, приложил эту тактику к демократии. Присоединяясь к заявлению делегата Посадовска — что «все демократические принципы должны быть подчинены выгодам нашей партии», Плеханов произнес свои памятные слова: «Успех революции — высший закон. Если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или иного демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться... Мыслим случай, когда мы, соц. демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Если бы выборы (в парламент) оказались неудачными, то нам нужно бы было стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели». Когда в 1917 г. Ленин заставил большевиков сперва провозгласить лозунг «вся

власть советам», а затем захватить власть мимо советов и разогнать не в «две недели», а в двадцать четыре часа Учредительное собрание, он лишь применял тот же принцип: *salus revolutions — suprema lex*¹. И конечно, *политическая* проблема в такой момент совершенно отодвигала на второй план проблему *экономическую**.

Первая русская революция 1905 г. дала возможность Ленину произнести, по его выражению, «Генеральную репетицию 1917 г.». В противоположность колебавшимся меньшевикам, большевики решительно пошли мимо Государственной думы, которую бойкотировали, к захвату власти вооруженным восстанием «пролетариата» под собственным руководством. Ленин признавал тогда, что русская революция будет буржуазной, ибо Россия — отсталая экономически страна, в которой преобладает крестьянство, а пролетариат недостаточно организован. Он признавал и то, что вводить социализм в России, когда кругом нее социализм не введен в странах с несравненно более развитой промышленностью, — безнадежное дело. Но это не мешало ему с тем же упорством идти по единственному пути, который он знал и в который он верил, — до той точки, до какой позволит очередная революционная ситуация. А эта ситуация рисовалась ему в 1905 г. и даже в начале 1906 г. как похожая на 1847 год, а не на 1849 (т. е. канун революции, а не расплата за нее). И он заявлял: «Мы не остановимся на полупути (т. е. на завоевании свобод для буржуазии)... В России — *две* разнородных социальных войны: одна в недрах современного самодержавно-крепостнического строя, другая в недрах будущего, уже рождающегося на наших глазах буржуазно-демократического строя. Одна общенародная борьба за демократию, т. е. за самодержавие народа; другая — классовая борьба пролетариата с буржуазией за социалистическое устройство общества». В первой борьбе он готов был помочь бедным беспомощным либералам, которые сами ничего не умеют сделать; но по мере того, как они добьются того, что нужно и ему, он сам поведет вторую, классовую борьбу за социалистическое устройство. Тут, может быть, не было предусмотрено, что эта вторая борьба начнется слишком рано и слишком скоро бросит власть в руки Ленина. «Доведение революции до конца» уже в 1905 г. означало для Ленина «революционный переворот, полное свержение самодержавия, отстранение непоследовательной и своекорыстной бур-

* О борьбе Ленина с «легальными марксистами», с «экономистами, с меньшевиками» на II съезде см. «Историю В. К. Ж.», т. I, выпуск первый, под ред. Ем. Ярославского. Гос. изд. 1926, главы V–VIII. См. также «Письма П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова», Русск. рев. архив, Берл., 1924.

жуазии, революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства». Бесплезно спрашивать, верил ли, действительно, Ленин тогда в такой конец, как утверждал, и думал ли он о том, что будет делать дальше с «диктатурой». Во всяком случае, этот путь и тогда вел не через Государственную думу — и даже не через «временное правительство», а прямым путем на «советы» и на «вооруженное восстание». Форма «советов» так удобно противопоставлялась формам «демократии» — и в *экономическом* смысле (как «федерация коммун» на революционном языке XIX века), и в особенности в *политическом* смысле — как готовые наследники и восприемники власти. Совет рабочих (а за ним и «крестьянских» и «солдатских») депутатов 1905 г. появился независимо от большевиков, почти автоматически, как естественная форма самочинного представительства масс. Но в истории этого Совета можно проследить любопытную параллель с 1917 г. И тогда в Совете уже шла ожесточенная борьба большевиков с конкурентами меньшевиками и с с. р-ами за превращение Совета в классовую пролетарскую организацию, а затем — в центр агитации за вооруженное восстание. «Совет рабочих депутатов, — заявлял Ленин в ноябре 1905 г., — не рабочий парламент и не орган самоуправления, а боевая организация для достижения определенных целей». И в 1906 г. он подтверждал, что Советы, «несмотря на всю их зачаточность, стихийность, неоформленность, расплывчатость в составе и в функционировании... были именно *органы власти*... зародыши нового... революционного правительства. Это была в зачатке *диктатура* революционных элементов народа»*.

Когда прошел период упадка и разложения 1907–1917 гг. и сложилась новая революционная ситуация, Ленин, как мы видели, снова пошел тем же путем. Его мысль была по-прежнему устремлена на непосредственное разрешение *политической* задачи — захвата власти. Обстановка оказалась выгоднее; сопротивление — слабее. И он на этот раз «дошел до конца». Но, занятый своей единственной навязчивой идеей, он пришел к концу если не с пустыми, то с полупустыми руками. Разработаны были

* О бойкоте Думы и борьбе с меньшевиками см. «Письма Мартова». Роль Ленина в революции 1905 г. и его понимание роли «советов» см. в «Очерках по истории советов раб. депутатов» П. Горина, изд. Комм. у-та имени Свердлова, Москва, 1925 стр. 21, 24, 47–49, 55, 58–61, 65. О прецедентах «советов» в европейском революц. движении см. Wilhelm Mautner, *Der Bolschevismus, Voraussatzungen (Geschichte), Theorie, zugleich eine Untersuchung seines Verhältnisses zu Marxismus*, Berl. — Stuttg.-Leipzig-Hohlhammer, 1920, стр. 274–294. См. тоже об эластичности понятия «советов» Мартова, «Мировой большевизм», Берлин, 1923, стр. 29–42.

опять-таки только методы захвата власти. В ожидании своего часа, в августе-сентябре 1917 г., Ленин написал свое политическое дополнение к Марксу «Государство и революция», где пытался связать свой большевизм с коммунизмом Маркса периода «Коммунистического манифеста» 1848 г. Основная идея книжки та, что с каждой новой революционной вспышкой Маркс и Энгельс все совершеннее разрабатывали свое учение о революционном захвате власти; но только он, Ленин, единственный правильный истолкователь Маркса, доведет это учение до полного совершенства и законченности, сообщив ему надлежащую глубину*.

В чем суть этого единственного вклада Ленина в марксизм? Она очень проста — в стиле Колумбова яйца. Вся ошибка предшественников Ленина — в том, что после ожидаемого революционного переворота они слишком скоро собирались приступить к полному уничтожению государства. Зачем? Ведь Ленин знает, что сразу социализма ввести нельзя. В промежутке пусть государство сыграет свою роль: по существу ту же самую, которую оно играло для буржуазии; но пусть теперь оно сыграет эту роль для нового победителя — пролетариата. «Государство, по Марксу, есть орган классового господства, орган порабощения одного класса другим». Отчего же не воспользоваться этим органом — именно как органом порабощения — для порабощения самих «поработителей»? «Авангард пролетариата» (а мы знаем, что это — партия большевиков), способный захватить власть и повести все общество к социализму, *нуждается* в государстве как централизованной организации силы и насилия — и для подавления сопротивления эксплуататоров и для руководства массами населения». Мы уже знаем, что «демократические принципы» при этом подавлении можно отбросить в сторону. «Мы не утописты. Нам нужна социалистическая революция при наличности такой человеческой природы, *какова она теперь*. Эта природа не может существовать без подчинения... Она должна подчиняться вооруженному авангарду... пока народ не приучится соблюдать элементарные условия социального существования без насилия и без подчинения». Одной этой оговорки, очевидно, достаточно, чтобы отсрочить *ad calendas graecas*² полную отмену государства, какая считалась сама собой разумеющейся при введении социалистического строя. А в ожидании, — «так как государство есть только переходное учреждение, которое мы

* Дельный анализ этого сочинения Ленина и очень продуманное сопоставление его с подлинными идеями Маркса см. в только что названном сочинении Маутнера, стр. 127–219. Ср. также Мартова, «Мировой большевизм», 61–93.

должны использовать в революционной борьбе для того, чтобы силой раздавить наших противников, — совершенно нелепо говорить о государстве *свободного народа*. Пока пролетариат вообще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах сокрушения врагов». Итак, ленинистская «диктатура» пролетариата есть принципиально и фактически диктатура насилия меньшинства, «авангарда». Она начинается с разрушения старого государственного аппарата, армии и чиновничества, и с замены его новым рабочим персоналом, для которого не надобно специальной выучки, так как в «пролетарском» государстве все функции выборных и сменяемых администраторов сводятся к контролю и регистрации — за одинаковую для всех рабочую плату — над деятельностью крупных общественных организаций («по примеру почты»).

Без всякого сомнения, построение Маркса и Энгельса, хотя Ленин и старается передать его по возможности собственными словами учителей, является здесь безмерно упрощенным. Предрешив социалистический переворот в стране, которая даже не перешла еще из вполне натурального хозяйства в индустриальный период, Ленин, естественно, должен был отгородить себе, в пределах марксовской доктрины, особую неприкосновенную сферу, куда не проникала бы критика конкурентов меньшевиков*. Он достигает этого, забронировывая то «переходное» состояние между «буржуазным» государством и полным уничтожением государства при социализме, к созданию которого ему не терпится приступить путем вмешательства партии в «буржуазную революцию» и немедленного захвата власти вооруженным «авангардом» пролета-

* Троцкий и Парvus в 1905–6 гг. пошли дальше меньшевиков, но не дотянули до ленинской концепции. Они не верят, как и меньшевики, в возможность немедленной социалистической революции, но не хотят мириться и на остановке революции в фазисе «буржуазной республики». Они поэтому провозглашают «перманентную» революцию, которая должна длиться до достижения фазиса социалистической революции. Идея Ленина идет дальше идеи «перманентной» революции в том отношении, что допускает, раз «пролетариат» у власти, не только борьбу за социализм, но и самое осуществление социализма в его подготовительной стадии. Ленин пользуется при этом, как видно из вышеприведенной цитаты, марксистской идеей о постепенном созревании «в лоне» буржуазного строя — будущего социалистического строя, который, созрев, легко сбрасывает («арест 100 капиталистов!») капиталистический строй, как отваливающуюся шелуху. Правда, в основной своей тактике Ленин тотчас же забывает про эту идею, осуждающую а limine³ весь его эксперимент. Но в этом и заключается неясность и запутанность исходных точек «ленинизма». О «перманентной» революции Троцкого в 1905 г. см. Варейкиса. Внутрипартийные разногласия (отношение партии к троцкизму). Госизд., 1925. 45–60.

риата — от его имени. Что «вооруженный авангард», разрушив государственный аппарат и истребив буржуазию, все-таки не сможет сразу создать коммунизма (высший род социализма) — это для Ленина ясно. Но чтобы приобрести право на революционный переворот и на захват власти, нужно же рассчитывать на создание чего-то существенно нового. Ленин ищет этого в туманном понятии «полугосударства» и «неполного коммунизма», которые и будут сутью этого перехода от пролетарского государства к полной безгосударственности. Вот его попытка описать эту «первую и низшую ступень» коммунистического общества в терминах марксизма.

Средства производства уже вышли из частной собственности отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему обществу. Каждый член общества, выполняя известную долю общественно-необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество продуктов. За вычетом того количества труда, которое идет на общественный фонд, каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал.

Таким образом в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом) «буржуазное право» отменяется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т. е. лишь по отношению к средствам производства. «Буржуазное право» признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их *общей* собственностью. Постольку — и лишь постольку — «буржуазное право» отпадает.

Но оно остается все же в другой своей части, остается в качестве регулятора (определителя) распределения продуктов и распределения труда между членами общества.

«Кто не работает, тот не должен есть» — этот социалистический принцип *уже* осуществлен; «за равное количество труда равное количество продукта», — и этот социалистический принцип *уже* осуществлен. Однако это еще не коммунизм, и это еще не устраняет «буржуазного права», которое неравным людям за неравное (фактически неравное) количество труда дает равное количество продукта.

«Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, подавлять поэтому какой бы то ни было класс нельзя.

Но государство еще не отмерло совсем, ибо остается охрана «буржуазного права», освящающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм»*.

Мы сейчас увидим, что и в этом, довольно широко отгороженном пространстве для социального экспериментирования в подгото-

* Н. Ленин. Государство и революция, Изд. «Коммуниста». М., 1919, стр. 117, 119, 120.

вительной *еще* «государственной» фазе, Ленину не удалось уместиться. Тут было бы уместно вспомнить замечание Энгельса, что когда доктринеры получают власть, ирония истории принуждает их делать противоположное тому, что предписывала их школьная доктрина. Во всяком случае, уже и здесь отклонение от марксизма настолько велико, что правильнее оставить за ленинской концепцией русское название — большевизма или, как повелось после его смерти, «ленинизма». Конечно, Маркс не вовсе без вины в ленинской конструкции. Ибо есть два Маркса: энтузиаст революционер 1848 года, которого ловит на словах Ленин, и реалист — ученый позднейшего времени, которого он принужден игнорировать. Но, во всяком случае, Маркс не думал ни сужать понятия государства до исключительно принудительной классовой организации, ни идти к социализму мимо демократии, ни разуместь под «диктатурой пролетариата» — организованное насилие олигархического меньшинства над всем народом, ни в особенности насильственно вводить социализм без соответственного уровня экономического развития и т. д. За все это ответствен исключительно ленинский большевизм и, может быть, в качестве последней заграничной моды — революционный синдикализм Жоржа Сореля и его единомышленников*.

* Резюмирующее сопоставление разногласий между Марксом — Энгельсом и Лениным см. в книге Маутнера, 212–220; там же 214–215 и попытка объяснения противоречий в самом Марксе. О сходстве идей большевизма и революционного синдикализма см. там же, 297–307. В английском и немецком издании настоящей книги и особенно в моей книге *Bolchevism, an international danger* (22–31), я посвятил больше внимания сходству идей Ленина с идеями Жоржа Сореля в его *Reflexions sur la violence*, впервые напечатанных в *Mouvement Socialiste*, в 1906 г. (последнее издание с предисловием о Ленине) и других писателей революционно-синдикалистской плеяды (Ed. Berth, Pouget, Lagardelle, Merrheim, Broillet, Bousquet, Bled, Challaye и др). Я предполагал тут влияние русской революции (большинство произведений революционных синдикалистов появилось в 1906 и 1908 гг., см., напр., список, приложенный к книге Arthur Lewis), толкнувшее синдикализм на революционный путь и, в свою очередь, обратно повлиявшее через революционно-синдикалистских писателей на более решительные отклонения Ленина от Маркса (отказ от демократии и парламентаризма, учения о «сознательном авангарде», о захвате власти меньшинством, о революционной борьбе как благе самой по себе, независимо от практических последствий, об *Action directe* и т. д.). Разумеется, и Сорель претендует, как Ленин, что он только восстанавливает подлинного Маркса «Коммунистического манифеста» 1847 г., — искаженного реформистскими последователями. Ленинисты, однако, отвергают прямое влияние Сореля на Ленина — и в этом издании я намеренно подчеркиваю единство мысли и тактики Ленина с дореволюционными времен до 1917 г. Сходство ленинизма и рев. синдикализма, в конце концов, действительно, может объясняться, по Зомбарту,

Естественно, что, очутившись у власти со своей упрощенной и русифицированной доктриной, большевизм должен был почувствовать необходимость дальнейших немедленных приспособлений к русской действительности. Непримируемый и твердокаменный в доктрине и в основной своей цели, Ленин, как мы знаем, был беспредельным оппортунистом в выборе средств. Русская государственность, в состоянии тогдашнего разрушения, прежде всего нуждалась не в дальнейшем «разрушении аппарата», а в его скорейшем восстановлении. Чтобы иметь вообще какую-либо власть, приходилось прежде всего восстановить машину управления. Чтобы было что распределять и потреблять, надо было наладить производство. Большевики, таким образом, сразу очутились перед дилеммой: или вводить хотя бы «неполный коммунизм», или укреплять государственность, необходимую для всякого правительства. Но когда выбор становился между сохранением власти или осуществлением доктрины, они, разумеется, без всякого стеснения предпочитали первое последнему, в какие бы противоречия с самими собой это их ни вводило. Вот почему из этих двух линий ясна и отчетлива только одна: средства сохранения власти. Другая линия — осуществление пролетарской доктрины — чрезвычайно извилиста, прерывиста и сбивчива. Внести хотя бы некоторое внешнее подобие осуществления «неполного коммунизма» помог только тот «государственный социализм», который они унаследовали от временного и царского правительства, как печальный результат государственного напряжения военного времени. И когда потом, оглядываясь задним числом на беспорядочное экспериментирование первых годов власти, большевики хотели обозначить его отсталый, не-социалистический характер, они привыкли говорить: то была пора «военного коммунизма». Сравнительно с ним даже и «государственный капитализм» представлялся огромным прогрессом — или великой уступкой.

<...>

тем, что у них «один отец — Маркс и одна мать — революция». Ленина отталкивало от синдикализма преобладание в нем *экономического* элемента над *политическим*. Естественно, с другой стороны, что Мартов (Мировой большевизм, 89) ищет связи ленинизма с анархо-синдикализмом именно вследствие выдвижения в *революционном синдикализме политического* элемента.

<Россия — ступень для мировой революции>⁴

II

Нерешительность, с которой большевики приступили к осуществлению социалистической (или «коммунистической») стороны своей доктрины, несомненна. Можно спорить только относительно причин этой нерешительности. Самая главная из них — это уже указанная неясность представления об экономической стороне предпринятой большевиками социальной революции. Конечно, если бы тут была налицо та степень ясности, которую предполагает истинный, нефальсифицированный Лениным марксизм, то, может быть, не было бы и самой октябрьской революции. Но нельзя все относить на счет этой неясности. Мы знаем уже, что, готовясь к революционному перевороту, Ленин понимал, что ввести в России социализм *сразу* невозможно. На выручку тут являлись две дополнительные идеи, кое-как прикрывавшие коренное отступление от основной идеи Маркса, что социальная революция должна быть подготовлена в «лоне» капиталистического строя, настолько, чтобы оставалось только громадному большинству эксплуатируемых экспроприировать немногих эксплуататоров, завладев готовыми формами синдицированных или социализированных предприятий. Обрывки этой основной идеи прорываются и у Ленина («арестовать сто капиталистов», овладеть банками и трестами и т. д.). Но ему все же не может быть неясно, что до *такой* степени индустриализации, которая делает подобный переход теоретически легким, Россия не дошла. Тут и является на помощь, во-первых, та идея переходного периода (овладения современным государством для ускоренной подготовки безгосударственного строя), о которой мы уже говорили. Вторая вспомогательная идея состоит в простом переложении того, что невозможно для России, на более подготовленные индустриальные государства Запада. *Россия не может сразу стать социалистическим государством. Но она может, создав у себя пролетарскую власть, что ей легче сделать именно по причине ее отсталости (слабость буржуазии и т. д.), помочь затем другим, более подготовленным для социализма индустриальным странам произвести у себя социальные революции. Потом она получит от них помощь для русского пролетариата, чтобы превратить и Россию, в какой-то неопределенный срок, в социалистическое общество. За неимением лучшего, именно эта вторая наивная и беспомощная идея становится для большевиков настоящим символом веры. <...> Но это — настолько центральная и неизбежная идея в общем построении большевизма, она*

так полно объясняет беззаботность большевиков относительно вопросов, достаточно ли подготовлен их собственный эксперимент, долго ли они останутся у власти, следует ли им немедленно приступить к введению социализма или можно обождать западных революций, — что необходимо уже здесь установить ее теоретическое место. Мы знакомы с идеей связи между всемирной революцией и русской, — ибо это есть идея Циммервальда (стр. 52–60). Но мы рассматривали циммервальдизм, главным образом, как *средство*, как орудие для устройства революций. Переходя к вопросу о *цели*, о внутреннем содержании этих революций, циммервальдцы неизбежно сталкивались с вопросом, насколько, при различии национальных условий в каждой стране, эти цели и содержание должны быть одинаковы или различны. Бернская конференция заграничных групп р. соц. дем. раб. п. уже 1 ноября 1914 г., т. е. в самом начале войны, вынесла резолюцию, которая таким образом различила вклад разных государств в это мировое событие. «Гражданская война, которую революционная социал-демократия делает своим лозунгом в настоящую эпоху, означает борьбу пролетариата с оружием в руках против буржуазии (1) за экспроприацию класса капиталистов в руководящих капиталистических странах, (2) за демократическую республику в России, (3) за республику в других отсталых монархиях». Ленину оставалось прибавить к этой формуле только ту мысль, что Россия будет *первой* в ряду социальных революций, поставленных на очередь мировой войной*.

* См. заявление Ленина в конце 1915 г. (Соч. XIII. 212–213): «Военный кризис усилил экономический и политический факторы, толкавшие (мелкую буржуазию) и *крестьянство*, в том числе, влево. В этом объективная основа возможности победы демократической революции в России. Что в Зап. Европе вполне созрели объективные условия социалистической революции, этого нам нет надобности доказывать здесь: это признавали до войны все влиятельные социалисты во всех передовых странах». Позднее, после совершившихся фактов, Ленин отчетливее формулировал причины, почему в России, «в конкретной, исторически чрезвычайно оригинальной ситуации 1917 г., было легко *начать* социалистическую революцию, тогда как *продолжать* ее и довести до конца России будет труднее, чем европейским странам». А именно, в России сложились «специфические условия»: 1) возможность соединить советский переворот с окончанием, благодаря ему, империалистской войны, невероятно измучившей рабочих и крестьян; 2) возможность использовать на известное время смертельную борьбу двух всемирно могущественных групп империалистических хищников, каковые группы не могли соединиться против советского врага; 3) возможность выдержать сравнительно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря гигантским размерам страны и худым средствам сообщения и 4) наличность такого глубокого буржуазно-демократического

До некоторой степени он и тут мог прикрыться марксизмом. Маркс, как известно, еще в 1882 г. написал свои знаменитые слова в предисловии к русскому переводу Коммунистического манифеста, сделанного Верой Засулич: «Когда (или “если”) русская революция *станет сигналом рабочей* революции на Западе — так что обе дополняют одна другую, — то современная русская община может послужить исходным пунктом развития коммунизма». Нет нужды напоминать, что это народническое представление об общине уже было опровергнуто самими русскими марксистами, опиравшимися, между прочим, и на факт дальнейшего разложения общины. Фраза Маркса была подхвачена Лениным, как пророчество <...> и, отправляясь в Россию в апреле 1917 г., он писал в своем прощальном письме швейцарским рабочим: «Русскому пролетариату выпала на долю великая задача *начать* ряд революций, которые с объективной необходимостью созданы империалистической войной... Мы очень хорошо знаем, что русский пролетариат слабее организован и менее подготовлен духовно, чем рабочий класс других стран... (но) особые исторические условия сделали русский пролетариат на *возможно краткий промежуток времени* передовым борцом революционного пролетариата всего мира. Россия — земледельческая страна, одна из самых отсталых среди всех европейских стран. Социализм не может немедленно победить теперь же в России. Но крестьянский характер страны может — имея в виду крупное феодальное землевладение, — как показал опыт 1905 г., дать громадное развитие буржуазно-демократической революции в России, сделать ее *прологом социалистической мировой революции* и тем создать *вступление* к ней». У этой мысли есть, конечно, и обратная сторона: *если* мировой революции не будет, тогда становится невозможна и социальная

революционного движения в крестьянстве, что партия пролетариата взяла революционные требования у партии крестьян (с. р.) и сразу осуществила их, благодаря завоеванию политической власти пролетариатом». См. «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920 со ссылкой на 1918), стр. 53–54. Что касается «продолжения и доведения до конца» русской социалистической революции, Ленин всегда представлял себе ясно, что «социальная революция в такой стране (с меньшинством рабочих и громадным большинством мелких земледельцев) может иметь окончательный успех лишь при двух условиях (одинаково неосуществимых. — П. М.): во-первых, при условии поддержки ее своевременно социальной революцией в одной или нескольких передовых странах. Другое условие — это соглашение между осуществляющим свою диктатуру или держащим в своих руках государственную власть пролетариатом и большинством крестьянского населения». См. доклад «о продовольственном кризисе» на X съезде 1921 г. (Соч. XVIII, стр. 137, 133.).

революция в России. Чем дальше, тем судорожнее будет большевистская мысль цепляться поэтому за шансы мировой революции как за условие введения социализма в России. Но в 1917 г. никаких сомнений еще нет в душе Ленина; и он кончает свое письмо к швейцарским рабочим уверенной фразой: «Мы непобедимы, *потому что* непобедима интернациональная пролетарская революция».

Таким образом, Россия являлась, прежде всего, средством для решения мировой задачи. Так как эта задача должна была решиться в ближайшие «недели» и месяцы (впоследствии появились «годы» и «десятки лет»), то нечего было особенно заботиться о *немедленном* введении социализма в России. Это придет впоследствии, вместе с победой социализма во всем мире; теперь же нужно прежде всего укрепить власть, чтобы помочь миру в его победе. Для укрепления власти, долженствующей послужить выполнению такой великой мировой задачи и спасти всю мировую цивилизацию от окончательной гибели, — все средства дозволены.

Этот ход мыслей объясняет, почему большевизм после своей победы, в расчете, пока в кратчайший срок исполнятся события, не столько задался мыслью об организации производства, сколько предался самому безрасчетливому использованию всех наличных средств, накопленных старым режимом. Ему нужно было в ближайший момент бросить на мировую арену возможно большую вооруженную силу на помощь мировому «пролетариату». Большевизм спешил пользоваться властью и потому, что вообще на долгое существование в России он заведомо не рассчитывал. Мы имеем ряд признаний самых крупных большевиков, что их расчет удержаться у власти не простирался первоначально дальше нескольких месяцев. В этот короткий срок нужно было выжать из России все, что она могла дать для мирового пожара. Наградой был предстоящий успех, в котором Ленин, этот фанатик и маньяк единой идеи — несомненно, искренний, — не хотел сомневаться.

<...>

Очевидно, разрушать «буржуазный» режим оказалось труднее, чем низвергнуть «буржуазное» правительство. Это было тем труднее, что большевики застали этот режим в процессе разложения книзу, а не развития кверху, как требуется для перехода к социализму настоящим марксизмом. Они заговаривали об отмене денег, когда приходилось не только прибегать к худшему виду денег — бумажкам, но и безмерно увеличивать инфляцию, повышая дороговизну жизни с быстротою, за которой не могли поспеть никакие перемены в твердых ценах. Они налаживали аппарат распределения, когда подлежащие распределению запасы «награбленного»

были уже распределены, а новой продукции не предвиделось. Они уничтожали частную инициативу — и принуждены были прибегать к ее суррогатам, в том числе к кооперации, которую они своим прикосновением постепенно, начиная с конца 1919 г., бюрократизировали, сделав ее частью официального распределительного аппарата и понудив все население обязательно записываться членами кооперации, — что фактически свелось к полному уничтожению значения кооперации. В той сравнительно тесной городской среде, где большевистская власть могла не только приказывать, но и следить за исполнением своих приказаний, эти распоряжения мертвили ткани живого социального организма или становились орудием большевистской политики. Сюда, напр., относится система «пайков», при помощи которой власть отобрала новый персонал профессионалов, готовых служить советской власти, и обрекала на медленную смерть «паразитарный» класс «буржуазии» и интеллигенции, живущей умственным трудом.

В общем итоге большевики неизбежно выполняли необходимую по тому моменту для *всякого* правительства функцию — укрепления власти после войны и революции. Но они делали это способами, которые были действительны лишь на короткий промежуток времени. Продолженные долее срока, на который рассчитано было первоначально пребывание большевиков у власти, те же меры противоречили поставленной задаче и обращались против власти, употреблявшей эти средства. Создавая — в лице партии — новый правящий класс, почти касту, большевики изолировали себя от населения. Захватывая в руки все источники производства, они подрывали самый нерв производства, т. е. рубили тот сук, на котором сидели. Это элементарное безумие, скоро перешедшее в условную официальную ложь, было настолько очевидно, что единственным объяснением того, как могли неглупые в других отношениях люди не замечать или игнорировать искусственность своего базиса, может быть только одно, уже приведенное выше: *временный характер* поставленной себе задачи. В дальнейших частях изложения мы увидим, как с крушением этой предпосылки вышли наружу все плохо скрытые противоречия и как — уже не для того, чтобы вводить идеальный строй, а просто, чтобы существовать, большевикам пришлось выкинуть за борт одну за другой все части той самой утопической доктрины, для осуществления которой, с огромными жертвами для родины, они совершили свой кровавый переворот.

<...>

**<Три опоры власти.
Коммунистическая партия>⁵**

III

Вводя наощупь, с указанными колебаниями и отступлениями, подобие «военного коммунизма», большевики, как мы видели, даже и этим воспользовались в своих интересах, — чтобы централизовать в своих руках все ресурсы расстроенной народной экономики и тем укрепить основы своей власти. Но они не могли, конечно, не сознавать всей искусственности и непрочности этой постройки. И не на таком хрупком финансово-экономическом базисе они рассчитывали построить свою силу. Испанские замки интегрального или половинного социализма — это было хорошо и здорово для Запада. У себя дома, на Востоке, Ленин предпочитал укрепиться на твердой скале доброй старой самодержавной традиции. И, оценивая стиль его постройки, наши любители «Евразии» недаром находили этот стиль — азиатским.

Надежда, или, лучше сказать, не надежда, а полная уверенность большевиков, что они смогут сохранить власть, основывалась на трех опорных массивах, на которых выведено было все здание. Эти три опоры они возвели, в противоположность колеблющейся тактике введения коммунизма, с чрезвычайной последовательностью и с полнейшим пренебрежением к каким-бы то ни было доктринам или моральным сдержкам. Отрицание «демократизма» сказалось здесь в полной мере. Первой опорой была их монополярная *партия* — это основное орудие централизованного управления. Вторая опора — *Красная армия*. Третья — единственная в истории, совершенно беспримерная система шпионажа и *красного террора*. За десять лет господства применение этих средств варьировалось, и нам придется еще возвращаться к тому или другому из них в дальнейшем ходе нашего изложения. Но уже теперь необходимо познакомиться с каждым из них, чтобы понять, почему большевики, захватив власть благодаря стечению исключительно благоприятных обстоятельств, затем не только удержались у власти, вопреки всем прогнозам, в том числе и их собственным, но и создали такую систему неограниченного и бесконтрольного властвования, подобной которой не знает история.

Первым и основным орудием их господства явилась, как сказано, «РКП», или Российская коммунистическая партия, в 1925 г. переименованная в ВКП, т. е. в «Всесоюзную к. п.». В теории и на основании буквы конституции коммунистическая партия есть такое же частное учреждение, как и всякая другая партия.

До лета 1918 г., пока в составе правительства, в союзе с коммунистической партией, участвовала в управлении партия левых социалистов-революционеров, РКП в теории лишь «стремилась» к преобладанию в Советах. *Теоретически* можно было представить себе случай, когда она могла бы опять очутиться в Советах в меньшинстве, как было в начале мартовской революции 1917 г. Но практика, конечно, с самого начала разошлась с теорией. Сам Ленин никогда не скрывал, что его «пролетарская диктатура» есть самая неограниченная олигархия, правящая государством непосредственно через партию. «Партией, собирающей ежегодно съезды, — говорит он в 1920 г., — руководит избранный на съезде Центральный комитет из 19 человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще более узким коллегиям, именно так называемым Оргбюро (Организационному бюро) и Политбюро (Политическому бюро), которые избираются на пленарных заседаниях Цека в составе пяти членов Цека в каждое бюро. *Выходит, следовательно, самая настоящая олигархия.* Ни один важный политический или организационный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний Цека партии»*. В действительности и Цека отступает на задний план перед этой «пентархией» Политбюро, как констатировали итальянские делегаты-социалисты Нофри и Поццани, побывавшие в России летом 1920 г. и давшие едва ли не первую правдивую картину положения в советской республике. Они засвидетельствовали, что с февраля по июнь 1920 г. Цека собрался только один раз, чтобы просто голосовать декларацию Лиге Наций и установить текст воззвания к народу по поводу войны с Польшей**.

Надо сказать, что такое положение характеризует особенно начальный период господства большевиков, когда система их учреждений не была еще разработана и когда требовались немедленные меры в порядке военных приказов. Тут уже делать различие между партийными органами и государственными учреждениями советского типа вовсе не приходилось. Тогда окончательно установилась практика, по которой партийные органы не только руководили, но и непосредственно управляли государством. Так было даже по отношению к центральным учреждениям. Еще в феврале 1921 г. «Коммунистический труд» свидетельствует: «Деятельность центрального исполнительного комитета и Совета

* Ленин, Детская болезнь, стр. 36.

** La Russia com'è, Gregorio Nofri. — Fernando Pozzani, con prefazione di Filippo Turati, Firenze, Remporad, 8–19.

Народных Комиссаров (правительственные учреждения) заменена деятельностью центрального комитета партии или, лучше сказать, его “политического бюро” и “организационного бюро”. Они обыкновенно изучают подробно все текущие дела, которые должны решать советские органы. В результате деятельность центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров получила чисто формальный характер. Министерства представляют законопроекты прямо в центральный комитет (партии) и затем приводят их в исполнение независимо от центральных органов власти»*. Тем более это смещение партии с правительством составляло постоянную черту провинциальных учреждений. «Практика военного периода, — говорит официальный отчет о деятельности РКП за 1922–23 гг., — неизбежно должна была сделать из ЦК и губернских комитетов (партии) мобилизационные аппараты, которые наспех набирали и выбрасывали на наиболее опасные пункты наших фронтов ударные группы мобилизованных коммунистов. Эта чрезвычайная обстановка... накладывала свой отпечаток... и в 1919, и в 1920, и отчасти в 1921 году. Мобилизации военные, продовольственные, на транспорте следовали одна за другой... Вся партия представляла собой дисциплинированную боевую армию». Естественным последствием была *милитаризация и крайняя централизация партии*, в которой «методы партийной работы... тяготели к системе боевых приказов (резолюция X съезда)»**. Вся совещательная работа партии атрофировалась, замерли периодические собрания членов, распорядились только исп. комитеты — и требовали беспрекословного повиновения. В этот период «переброска» рядового члена партии с одной должности на другую была постоянным правилом. Все это вызывало естественное противодействие изнутри партии. Явились требования ввести в партии «демократизм». Одновременно с этим появившаяся в партии оппозиция требовала — разграничения между аппаратом партии и аппаратом советов. И на первых порах после наступления «мирного периода» съезды партии (от VIII до XI) пошли навстречу этим желанием оппозиции. Но скоро было замечено, что отделение государства от партии в корне противоречит всей структуре «диктатуры пролетариата», осуществляемой при помощи его «сознательного» и «вооруженного авангарда». И Ленин уже в 1921 г. напоминал:

* Цитата взята из книги Lydia Bach, *Le droit et les institutions de la Russie Sovietique*. Paris, 1923, стр. 85–6.

** Итоги партийной работы за год (1922–1923). Изд. Красная новь, Москва, 1923 г. стр. 34–35, Росс. ком. партия в резолюциях ее съездов, 2-е изд. Гос. Издат., Москва (1924), стр. 227.

«Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу... Партия управляет, руководит всем государством, господствует и должна господствовать над громадным государственным аппаратом». К концу жизни, в 1923 году Ленин вернулся к мысли о «фактическом и юридическом преобладании партии над госаппаратом». Соответственно этому и XII съезд партии внес поправку, предостерегавшую «против слишком расширительного толкования» этих решений «о необходимости точного разделения труда между партийными и советскими организациями»... «В переживаемый период РКП руководит и должна руководить всей политической и культурной работой органов государственной власти, направляет и должна направлять деятельность всех хозяйственных органов республики. Диктатура рабочего класса не может быть обеспечена иначе, как в форме диктатуры его передового авангарда, т. е. компартии». Так был формально признан принцип диктатуры «над пролетариатом». И Зиновьев в знаменитой дискуссии с оппозицией <...> уже после смерти Ленина, заостряет его учение в теорию «монополии легальности» партии. РКП «осуществляет диктатуру пролетариата и именно потому является *единственной* легальной партией в Союзе Республик. Она раздавила все остальные политические партии, она оставила за собой монополию на свободу печати, монополию на свободу политической работы... Проявить себя политически или даже на хозяйственной арене в настоящую минуту можно, только входя в нашу партию... Нельзя осуществлять диктатуру пролетариата, если коммунистическая партия не имеет монополии легальности»*. <...>

<...>

Подводя итог, можно сказать, что партия РКП *состоит из очень немногочисленного ядра* старых партийных работников, которое фактически неограниченно управляет партией и через партию всей Россией, определяет состав «ответственных» работников и назначает их на места, удаляет и вводит в партию новых членов и пытается постепенно раскинуть по всей России сеть доверенных

* Резолюцию XII съезда см. в «Р. К. Партия в резолюциях» стр. 335. Речь Зиновьева. См. его же заявление на заседании ком. фракции XI съезда СССР («Правда» 8 февраля 1924): «мы неизбежно стоим на почве пролетарской диктатуры, — железной диктатуры... Взаимоотношения партии и государства должны остаться старые: партия руководит, партия — душа всего, партия занимается не только агитацией и пропагандой, как ей хотели подсунуть, а партия организует, партия направляет, партия руководит советской властью, партия — ее голова».

и испытанных людей, обязанных беспрекословно повиноваться приказаниям сверху. По отношению к населению партия коммунистов составляет привилегированный класс, но по отношению к своему начальству она — безгласное стадо. Как привилегированный класс, РКП, конечно, не обладает ни культурностью, ни техническими познаниями старого привилегированного класса, и только присутствие в ее среде и под ее управлением многочисленных специалистов («спецов») по всем отраслям государственного управления, подготовленных еще при старом режиме, дает ей возможность овладеть минимальной техникой, необходимой при управлении государством. Чем дальше от центра и чем ближе к населению, тем состав администраторов становится хуже и приемы управления более архаическими, бесконтрольными и насильственными. Борьба с произволом местных управителей центральная власть не может, а — при проникающем ее самом духе «пролетарского» насилия — даже и не всегда хочет. Она прекрасно понимает, что только насилем и страхом эта власть, составляющая ничтожное меньшинство ($\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{5}$ одного процента населения), и может удержаться среди народных масс, которые ее ненавидят и которые считаются с ней только потому (и до тех пор), что (и пока) не имеют сил с нею покончить.

IV

Второй основной опорой советской власти явилась *Красная армия*. Но это — опора в совершенно ином смысле, чем коммунистическая партия. ВКП, как мы видели, создала аппарат управления и слилась с ним. Слить в такой же степени аппарат защиты государства с коммунистической партией никогда не удавалось. Красная армия, при всем старании сделать ее классовой, осталась *национальной*. Иной она быть не могла уже потому, что русская армия есть армия по преимуществу крестьянская, т. е. социально отличная от «пролетариата». Можно было, если угодно, назвать ее «рабоче-крестьянской» армией и попытаться слить оба понятия в понятие «армии трудящихся». Но нельзя было изменить действительность при помощи советской терминологии.

Конечно, и в этой области не обошлось без попыток приложить коммунистическую доктрину в чистом виде. Но и здесь доктрина сейчас же отступала на второй план, как только этого требовали интересы сохранения советской власти. Под влиянием этих уступок история Красной армии прошла через целых четыре периода, которые можно назвать периодами красногвардейских организаций, добровольческо-«социалистической» армии, регулярной

армии по набору и демобилизованной смешанной кадрово-территориальной армии.

<...>

Практика, конечно, очень скоро показала полную невозможность создания армии вообще — а многочисленной армии в особенности — на добровольческих началах и по «рекомендации». К концу апреля 1918 г. в армию зачислилось только 106 000 добровольцев. Эта идея сохраняла практическое значение, как переходная, лишь до тех пор, пока большевики не успели объединить управление рассыпавшимися частями России <...> и установить аппарат местной партийной власти. По мере же того, как управление централизовалось и организовался контроль над населением, быстро крепла мысль о замене идеи добровольчества идеей обязательной военной службы по набору. За такой переход говорили, конечно, и технические соображения. В своем первоначальном составе Красная армия, очевидно, не могла совладать с «белогвардейскими» отрядами, угрожавшими советской власти сперва с Юга, а потом и с других концов России — с Востока, Запада, Севера. Первым материалом для образования Красной армии, за исключением немногочисленных отрядов Красной гвардии, послужили солдаты тех же разлагавшихся фронтов, не желавшие воевать и дезертировавшие массами. При общем уходе с фронтов «самотеком» наибольшее количество этих деморализованных элементов скопилось на Кавказском фронте, откуда нельзя было уйти прямо в Россию и куда с трудом проникала центральная советская власть. Бросив фронта и отыскивая пути возвращения, дезертиры образовали здесь, в пути вооруженные шайки, жившие грабежом и реквизициями у населения, предводимые авантюристами, выделившимися из солдат или унтер-офицеров, враждовавшими между собой и претендовавшими на полную самостоятельность оперативных действий. Превосходя в десять-двадцать раз численность «белых армий» того периода, эти «красные» отряды терпели, тем не менее, постоянные поражения вследствие полного незнания военного дела и упадка военной дисциплины. Старое офицерство и главный штаб сторонились пока от Красной армии, ожидая скорого падения большевиков; да к ним в первое время и не обращались. Для собственной защиты советская власть на эти беспорядочные толпы не полагалась, предпочитая опираться в своей очередной работе по «истреблению буржуазии» на отряды инородцев и иностранцев — латышей, китайцев, венгерских и германских военнопленных, дисциплинированных, хорошо вооруженных и правильно организованных. Особенной жестокостью при этом отличились латышские стрелки и китай-

цы, из которых набирались кадры советских палачей. Отряды инородцев и иностранцев посылались усмирять крестьянские восстания, они стояли с пулеметами позади рядов красных солдат и не позволяли им, под угрозой расстрела, бежать с поля битвы.

Было ясно, что с такой армией нельзя выйти против современных «империалистских» армий на помощь мировой революции.

Троцкий почувствовал это особенно наглядно в своих переговорах в Бресте с германскими генералами, особенно когда в ответ на его угрозы восстанием мирового пролетариата и на его приказ о демобилизации русского фронта они ответили наступлением на Петербург и заставили советское правительство со всей поспешностью перебраться в Москву <...>. Троцкий за свою политику в Бресте был в это время удален Лениным с поста комиссара иностранных дел. 2 сентября 1918 г. он стал во главе вновь образованного Военно-революционного совета. Троцкий подхватил созревшую уже идею создания настоящей регулярной армии — не такой, какая была намечена решениями декабря 1917 г. и января 1918 г., а армии, отвечающей всем техническим требованиям современной военной науки.

И он принялся постепенно создавать такую армию на смену неудавшейся армии революционно-сознательных добровольцев.

<...>

V

Мы подходим к третьему, наиболее универсальному средству, которое применяется и в своей специальной сфере, и при посредстве двух выше охарактеризованных орудий: партии и армии. Это универсальное средство — страх, а его специальное орудие — красный террор.

В этом, наиболее употребительном, но и наиболее уязвимом приеме властвования большевики наименее охотно сознаются перед иностранцами*. Когда отрицать его становится невозмож-

* В рядах европейской демократии установилось скептическое отношение ко всем сведениям о красном терроре как сплошной лжи («pack of lies» говорили англичане), сочиняемой реакционерами. В большинстве книг иностранцев о Советской России, и особенно относящихся к ранним годам советской власти, вопрос о красном терроре обходился молчанием. Сюда относятся, напр., популярные в свое время книжки Col. Malone M. P. *The Russian Republic*. 1919. W. T. Goode, *Bolshevism at Work*, 1920 (см. стр. 97); Etienne Antonelli. *La Russie Bolcheviste*, 1919; André Morizet, *Chez Lénine et Trotski Moscou*. 1921. Van's 1922, стр. 26–31 (защита Че-ка); De'Monzie *Du Krémelin au Luxembourg* 1924, стр. 58 (шутливое предпочтение Чека перед судами); Albert Rhys Williams *Through The Russian Revolution*,

ным, они пытаются объяснить акт террора как временный прием, вызванный чувством самосохранения или мести за покушения «белогвардейцев» на их вождей. (Террор официально введен осенью 1918 г. после убийства Урицкого и покушения на Ленина.) По временам они начинают утверждать, что террор уже отошел в прошлое. И действительно, несколько раз (впервые уже в феврале 1919 г.) они официально объявляли конец террора, пробовали отменять смертную казнь, заменили вызывавшую чувство ужаса и отвращения «Че-Ка» скромным Г. П. У., которому предстояло приобрести такую же репутацию. Но, по существу, отношение большевиков к террору никогда не менялось, а для внутреннего употребления они не только не считали нужным скрывать применение террора, но, напротив, в интересах «устрашения», придавали террору широкую гласность и самые поражающие воображение формы. «Беспощадное истребление эксплуататоров», «уничтожение паразитных классов общества», «полное подавление буржуазии» — введено уже в самую «декларацию прав» советской конституции. В «Правде» 11 сентября 1918 г. встречаем статью Н. Осинского, где в следующих словах развивается официальная теория красного террора: «От диктатуры пролетариата над буржуазией мы перешли к красному террору — *системе уничтожения буржуазии как класса* — так быстро, что вопрос о терроре обсуждался на митингах только неделю спустя

1921, стр. 161 (одно упоминание); Н. N. Brailsford. The Russian Worker's Republic, 1921, стр. 212 (Чека восстановила порядок), 230–231 (виновата буржуазия и интеллигенция). Даже отрицательно относящиеся к большевизму авторы знают мало о красном терроре, напр.: Keeling, Bolchevism, 1919; Robert Vaucher, L'Enfer Bolchevik a Petrograd (начало террора после убийства Урицкого, см. стр. 333–334, 351, 354–416); Charles Dumas, La verité sur les Bolchéviki, 1919, стр. 123–136; Arthur Ransome (пробольшевик), Six weeks in Russia in 1919, стр. 72–76, присутствовал на заседании исп. ком. по вопросу об ограничении прав Че-ка; Odetta Keun. Sous Lénine, 1922, стр. 102–184; 248–266; правдивое описание путешествия по Чрезвычайкам. Первое исследование по источникам см. у Etienne Buisson Les Bolchéviki (1917–1919). Paris, 1919, 101–115, кончается сообщением ЦК от 22 февр. 1919 об окончании террора. Прекрасно осведомлена для своего времени глава «The Red Terror» в книге Spargo, The greatest failure in all history, 1920, стр. 140–191. То же следует сказать о книге Walling-Gompers. Out of their own mouths гл. IV, 49–71. Сильное, но все же не решающее впечатление произвело опубликование британских правительственных сборников донесений агентов из России. Russia. No 1 (1919). A collection of reports on Bolshevism in Russia u Interim Report of the Committee to collect information of Russia (Miscellaneous, № 13; 1920). Вашингтон также опубликовал Memorandum on Certain Aspects of the Bolshevik movement in Russia (1919). Эта глава написана на основании русских источников, не подлежащих оспариванию. См. ниже.

после обсуждения вопроса о диктатуре». Для объяснения причин такого «быстрого перехода» Осинский приводит «две однородные причины: усиление внешнего натиска на Советскую Россию и попытки буржуазии восстановить свою власть». Другими словами, принципиальная основа коммунистического террора приводится в связь с практическими побуждениями — необходимостью устранить опасность для победителей. «Система» Осинского строится на «трех основаниях»: «физическом истреблении *боевых* элементов буржуазии, строгом учете и классификации по разрядам буржуазной *массы* и экономической кастрации буржуазии». Вторая задача выполняется путем «отдачи буржуазии под гласный надзор, с проверкой в определенные сроки того, что они делают и в житейском быту, и в общественной жизни», для чего «выдаются особые книжки» и «вводится трудовая повинность». «Лица, оказавшиеся опасными, должны либо истребляться, либо быть превращаемы в заложников, либо помещаться в концентрационные лагеря».

Конечно, эта «система» выполнялась не с такой строгой методичностью, как здесь намечено. Но о ее выполнении уже в то время свидетельствует характерная переписка между представителями нейтральных держав в Петрограде и Чичериным. В протесте 5 сентября 1918 г., подписанном Одье, говорится: «С единственной целью утолить ненависть против целого класса граждан, без мандатов какой бы то ни было власти, многочисленные вооруженные люди проникают днем и ночью в частные дома, расхищают и грабят, арестуют и уводят в тюрьму сотни несчастных, абсолютно чуждых политической борьбе, единственным преступлением которых является принадлежность к буржуазному классу, уничтожение которого руководители коммунизма проповедовали в своих газетах и речах. Безутешным семействам нет возможности получить какую бы то ни было справку относительно местонахождения родных... Подобные насильственные акты вызывают негодование цивилизованного мира. Дипломатический корпус энергично протестует против насильственных актов» и т. д. Любопытен ответ Чичерина от 12 сентября. Советский дипломат не думает отрицать обвинения, а только удивляется. Ведь «представители нейтральных держав протестуют *не по поводу отдельных злоупотреблений, а по поводу режима, проводимого рабоче-крестьянским правительством в его борьбе с классом эксплуататоров*». «Не грозить возмущением цивилизованного мира» должны бы были иностранные представители, «а бояться гнева народных масс всего мира», — ибо «в России насилия употребляются во имя святых интересов освобождения народных масс».

Как видим, советская власть поступала на точном основании законов мировой гражданской войны, к которой она приступила. Латыш Лацис, виднейший деятель Че-Ка, так и мотивировал тактику, исполнителем которой он являлся. Для гражданской войны «законы не писаны». «Капиталистическая война, — писал Лацис в официальном органе, — имеет свои законы в разных конвенциях... Но подойдите к нашей гражданской войне; вы ничего подобного не увидите. Вы станете смешным, применяя или требуя применения этих законов, считавшихся когда-то священными... Вырезать всех раненых в боях против тебя: вот закон гражданской войны... В гражданской войне для противника нет судов... Бей, чтобы не быть побитым». И в своей практике Лацис вполне придерживается указаний Осинского. В официальном «Еженедельнике Чрезвычайной Комиссии» и в нескольких газетах (ноябрь-декабрь 1918 г.) содержится классическое определение такого широкого понимания красного террора. «Мы истребляем буржуазию как класс, — повторяет Лацис вслед за начальством — и делает отсюда практические выводы. — Не ищите в следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал *делом* или *словом* против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить: *к какому классу он принадлежит*, какого он происхождения, образования или профессии. *Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора*».

Для такой «системы», очевидно, нет прецедентов в истории, ибо войны первобытных дикарей, для которых тоже «законы не писаны», не велись на начале классово-войсковой борьбы. Здесь соединились, в беспрецедентном и единственном сочетании, убеждение в обладании абсолютной истиной — своего рода единоспасательной религией, вроде тех, за которые когда-то жгли людей на кострах, — глубокая деформация человеческой психологии, созданная пребыванием на фронтах мировой войны, чувство полнейшей безнаказанности бандитов, получивших целое государство на поток и разграбление, наконец, чувство страха и самосохранения преступников, вынужденных цепляться за попавшую в руки власть, чтобы сберечь собственную жизнь. Громадное влияние, которое имело применение красного террора, трудно изобразить лучше, чем сделал это раскаявшийся социалист-революционер, советский министр юстиции И. Э. Штейнберг, несущий одинаковую с большевиками ответственность за применение этого средства. Из его книги я приведу цитату, длиннота которой искупается ее глубоким смыслом и чрезвычайной показательностью*.

* И. Э. Штейнберг. Нравственный лик революции. Скифы. Берлин, 1923 г., стр. 18–24.

Террор — это не единичный акт, не изолированное, случайное, хотя и повторяемое проявление правительственного бешенства. Террор — это система либо проявляемого, либо готового проявиться насилия сверху. Террор — это узаконенный план массового устрашения, принуждения, истребления со стороны власти. Террор — это точное, продуманное и до конца доведенное расписание кар, возмездий и угроз, которыми правительство запугивает, заманивает, заставляет выполнять его беспелляционную волю. Террор — это тяжкий покров, наброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из подозрительности, настороженности, мстительности, озлобленности... При терроре — власть в руках заведомого меньшинства, чувствующего свое одиночество и боящегося этого одиночества. Террор потому и существует, что находящееся у власти и в одиночестве меньшинство зачисляет в стан своих «врагов» все большее и большее число людей, групп, слоев... Это понятие («враг революции») тогда все больше расширяется, растягивается, обнимая собой постепенно всю страну, все население, доходя, наконец, до понятия «всех, кроме власти и сотрудников ее».

Как воздействует командующая власть на «врагов революции»? Можно ли перечислить ее меры полностью? Их так много и так изобретательны воображение и творчество террора в его авторах... Если количественный размах террора создается понятием «подозрительного», то качественное, материальное содержание его разрастается безгранично, благодаря принципу «все дозволено»... Это фактически значит, что в отношении *всех* допустимы *все* пути и средства насилия и принуждения. Не забудем при этом, что этот террор совершается всегда и неизменно «во имя революции», во имя высших идеалов, достигнутых разумом человечества... Террор не только смертная казнь, которая ярче всего потрясает мысль и воображение современников... Формы террора бесчисленны и разнообразны, как бесчисленны и разнообразны в своих проявлениях гнет и издевательство... Террор проявился в том, что на пространстве всей революционной страны в самую ответственную пору ее жизни заглушено вольное слово. Ни в печати, ни на собраниях народных, ни в союзах — нигде не допускается слово, которое бы расходилось с видами командующей власти... Массы в стране террора не только не высказываются, но — при господстве только официального слова — они не узнают правды о жизни своей и всей страны... Самая мысль становится либо молчаливо растленной, либо молчаливски-прислужнической... Террор — в тесно сплетенной сети политического надзора, которым правительство опутывает все поры, все ткани, все клетки революционного общества, в тайной политической политике, которая неотступно следит или делает вид, что следит за каждым шагом граждан, в хитроумных, дьявольски-изобретательных приемах сыска и провокации, которыми тайные намерения граждан должны быть обличены перед лицом власти. Террор — в пренебрежительных, в насмешливых, в мучительных формах допроса людей, изобличенных властью, в тончайших приемах душевной и иной пытки, то дерзко выступающей наружу, то заслоняющейся маской «революции и социализма», в переполненных до голодания, до изнурения тюрьмах... в случайности приговоров, зависящих от любой перемены политической погоды, от колебаний правительственных

чиновников, головами казнимых проводящих свои политические виды. Террор — в произвольных, диктуемых неизвестными нормами, выселениях, реквизициях, конфискациях, контрибуциях, лишь по виду цепляющихся за сытых и праздных, а по существу бьющих по голодным и усталым. Но самое страшное, самое чудовищное террора — в смертной казни, которая, как «святая гильотина» революции, вышла первым действующим лицом на *бытовую* арену революции, меч которой висит на такой тонкой ниточке, что готов в любую минуту спуститься на любую голову. Террор — в крови, которая льется безжалостно, бессмысленно, ручьями. Террор — это «к стенке», которая угрожает за неуплату налога подоходного, налога натурального, чрезвычайного, и за уход из армии, и за уклонение от нее, и за непоставку лошадей или зерна, и за уличные грабежи и за государственную измену, и за бесшабашное грондерство и за обман и преступление по службе, и за мелкую спекуляцию и за искусную контрреволюционную интригу и за легкомысленное «оскорбление величества» (переходного периода). Террор в том, что «к стенке» стало тоном обыденной жизни, что расправе над беззащитными, превращении человека в вещь, звериному началу в человеке открыты все плюсы и сорваны все плотины. Террор — в животном страхе, который парализует волю, заставляет бледнеть сильных, рабски подчиняет человеку с винтовкой в руках... Террор, наконец, в массовых казнях, когда за чужую вину, за удар, нанесенный власти, платятся неповинные люди из воюющего класса, платятся люди, случайно попавшие в руки этой власти, случайные обитатели государственных тюрем. Массовый террор — в преследованиях людей без вины, в *заложничестве*, в круговой поруке одних за других... Террор в том, что власть в защиту свою пускает в ход не тот или другой акт, не тот или иной вид насилия, а в том, что все эти виды и акты насилия пускаются в *массовом* размере и *одновременно*, что это звенья одной цепи, туго сковывающей сразу и все отправления жизни страны. Террор — не только тогда, когда насилие применяется, но даже и тогда, когда оно еще не применяется, когда оно лишь висит постоянной угрозой. *Угроза* террором и есть атмосфера, стихия террора; в этой атмосфере люди живут еще более отравленной жизнью, чем когда действует сам террор. Если террора нет сейчас, то всегда есть *возможность* его повторения: есть душевная привычка к нему у терроризирующих и терроризуемых.

Существование этих двух лагерей создает новый строй, в котором, как в прежних насильнических, но в еще более обостренной форме, имеются налицо все психические элементы строя неравенства и угнетения. На одной стороне — опьянение властью: наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектантская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим, одним словом, *господство*. На другой стороне — подавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей социальной и психологической пропастью: класс советских комиссаров и их челяди и класс советских «подданных». Чем сильнее нажим нового командующего класса, тем бесстыднее и грубее проходит он свою фазу первоначального накопления,

тем более ярким пламенем разгораются чувства злобы, гнева и ненависти к власти у нового угнетаемого класса.

Но этот разврат власти поселяется не только в отношениях ее с подданными, он спускается и в самые отношения подданных между собою... Взаимная подозрительность и настороженность, борьба за улыбки и ласки власти, явное или молчаливое предательство ближнего, самоокрашивание в защитные цвета, запугивание или подкупание близостью к власти, перенесение террора в миниатюре вниз, подражательность государственному насилию — все это ужасающе развивается в тех слоях населения (а это *все* слои), которые толпятся у престола власти. Если все — рабы по отношению к власти, тогда между рабами — человек человеку волк... Надо помнить, что у нас, в переходном строе, плоскость насилия со стороны власти бесконечно шире и всеобъемлющее, чем при любом старом общественном строе. При режимах царском и буржуазном насилие власти концентрировалось лишь в определенных областях: в политической, религиозной, национальной, отчасти хозяйственной. Вся же необъятная сфера удовлетворения человеческих потребностей, сфера индивидуальной жизни «обывателя» находилась вне плоскости государственно-вооруженного воздействия. Теперь же у нас, когда *все* области и личной, и хозяйственной, и общественной жизни перешли в руки и под надзор государственной власти, а власть эта построена исключительно на террористических началах, — угнетение сверху и безответная запуганность снизу распространились сами собою на *все* сферы жизни советского подданного... Это — наш террор: ему подчинены *все* слои населения, он охватывает все области жизни; все делается путем принуждения и небрежности к человеку, а не путем убеждения или соглашения. Террор — это социальная анархия при тесной сплоченности власти монархической... Смертная казнь — лишь кровавое увенчание, мрачный апофеоз системы, (которая) всем дыханием своим, всеми атомами своими упорно день за днем убивает душу народа».

Громадное место, которое занимает террор в жизни Советской России, охарактеризовано Штейнбергом в приведенных словах с исчерпывающей полнотой и ясностью. Нельзя добросовестно оспаривать характеристику этого близкого свидетеля и участника власти. Нельзя отрицать, что террор составляет не случайную черту, а самую сущность советской системы. Штейнберг признает, что до августа 1918 года террор был «фактическим» и только после убийства Урицкого и покушения на Ленина в конце августа этого года стал «официальным». Действительно, с этого времени появилась та официальная *мотивировка* красного террора мезью за белый террор, которую мы привели в начале этого отдела.

В этой мотивировке можно различить три стадии: мезь за белый террор, борьба с оружием в руках против вооруженной «контрреволюции», наконец, беспощадная классовая борьба вообще, — вот эти три постепенно расширяющиеся *официальные* мотивировки террора. Но и самая широкая из них не охватывает

всей сферы террора, как это явствует из характеристики Штейнберга. Не только «истребление» членов враждебного пролетариату класса «буржуазии» есть задача террора. Главная задача есть «устрашение», и распространяется оно на всех «врагов правительства», в чьих бы рядах они ни находились. Особо опасным врагом, например, являются социалисты, и советские тюрьмы, как при самодержавии, снова наполнились социалистами разных партий, причем разница обращения с «политическими» и «уголовными», строго соблюдавшаяся в царское время, постепенно затушеввалась или, если и сохранилась, то к невыгоде «политических». <...>

Мы теперь ознакомились с теми тремя средствами, которые помогли большевикам в течение почти целого десятилетия сохранить за собой власть, захваченную в трудную для государства минуту. Значит ли это, что власть эта, опираясь на те же средства: партию, армию и красный террор, гарантирована навсегда от всяких неожиданностей? Ответ на это можно получить уже из представленного описания. Мы видели, что каждое из трех средств, как оно ни действительно в начале, с течением времени постепенно теряет свою силу. Партия, разлагаясь изнутри, растворяется в окружающей массе, и ее твердые очертания, выделявшие ее в привилегированную касту, стоящую над населением, постепенно сливаются с окружающими ее элементами, «беспартийными», специалистами, чиновниками и т. д. По мере отдаления от момента октябрьской победы слабеет идеология этой победы, вымирает поколение победителей, выходит на сцену новое поколение, чуждое старой традиции, расщепляется твердый остов доктрины и т. д. <...> Что касается Красной армии, она с самого начала была гораздо менее надежна, чем партия, и чем дальше, тем больше, в армии воспитывался свой корпоративный дух и создавались свои порядки, делавшие ее тем менее уязвимой для непосредственных гонений, чем более она становилась похожа на регулярную армию, организованную по всем правилам военного искусства. Наконец, и террор, при всей силе произведенного им первоначального впечатления, бледнеет по мере того, как иссякает самый материал для террора. Все опасные для власти буржуа, все белые офицеры и т. д. или уже попали в руки власти и казнены, или приспособились, или же эмигрировали и находятся вне досягаемости. После того, как большевики немилосердно разрушили старый порядок и истребили старый состав общества, они очутились перед новым, заведенным ими самими порядком, — но *порядком*, который нельзя же было разрушать до основания каждый день, чтобы каждый день приниматься

за строение нового. Таким образом, они постепенно связывали себя введенными ими же учреждениями и обычаями, сокращали количество явных врагов; сокращая сферу применения террора, усиливали чувство безнаказанности обывателя, не входящего в эту сферу.

Средство террора, конечно, не уничтожено; каждую минуту оно может начать снова действовать. Но «стенка» сама постепенно выходит из нравов. Население смелеет, гипноз страха исчезает, как он исчез ко времени французского термидора. Таким образом, каждое из трех средств имеет предел, за которым перестает действовать с прежней силой. <...>

